



М. Закс¹

Клейст в моей кухне

*Глава XVII. Что рассказывает мне Клейст
о своих последних годах жизни во Франции и о своих шестерых детях*

В поезде каждый смотрит в свое окно. Я еще помню, какими красивыми электрички были раньше, со светлыми закругленными деревянными скамьями простых и прекрасных форм. Они выглядели так, словно были предназначены для летних выездов на природу. Теперь же сиденья обшиты тканью, узоры которой представляют собой настоящую головоломку. Движение поезда, однообразное и неровное одновременно, по шпалам, через поперечины, через бугры и кочки, действует успокаивающе. На длинном отрезке пути между Николасзее и Грюневальдом, без остановок, почти приходишь в состояние транса. Начинает смеркаться. Клейст выглядит усталым. Я тоже устала. Вообще-то он мог бы и спросить, как там моя лодыжка.

Или я о его самоубийстве.

Невозможно.

Или о той женщине, которая пошла на это вместе с ним.

Генриетта Фогель. В то же мгновение Клейст произносит ее имя. Йетхен, ее, вероятно, забыли упомянуть сегодня во время минуты памяти.

¹ Мириам Закс родилась в 1970 году в Мюнхене, с 1989 года живет в Берлине. Работала ассистентом по литературной части в Немецком театре, снималась в кино и на телевидении. Играла в фильмах «Первый брак» (2002), «Роза, или какого цвета жизнь» (2004), «Валерия» (2006), «Первая зима Эдди» (2008) и др. С 2002 года в качестве режиссера осуществляла постановки классических произведений на сцене («Гамлет», «Кетхен из Гейльбронна» и др.). Графика и иллюстрации Мириам Закс были представлены на персональных выставках. В настоящее время создает инсталляции и живые картины, используя принцип коллажа. В 2005 году был опубликован ее первый роман — «Путешествие в Иерусалим, или 141 день в ожидании Грюнштейна». «Клейст в моей кухне» — второй роман Мириам Закс. Он вышел в 2010 году в издательстве архива Клейста в Гейльбронне. Перевод одной из глав романа публикуется с согласия автора и издательства.

Да, — говорю я, — это, конечно, немного невежливо, но как-то... конечно, его посчитали важнее. Я улыбаюсь ему. Это был комплимент. Он на него не клюнул.

Но ее судьба известна обществу? — спрашивает он.

Конечно, — отвечаю я (и думаю: но мне-то не особо). Он ненадолго погружает лицо в ладони, потом запускает руки в волосы, заново обматывается шарфом, пока не тонет в нем почти целиком. Потом внезапно со страшной силой бьет по стеклу вагонного окна. Я говорю: меня трогает то, что для него это так много значит. Любил ли он ее действительно так сильно... —

Он резко перебивает меня. Говорит, что я не понимаю этого, что это не было печальной историей, как говорится, хотя в каком-то смысле все, по сути, является печальной историей, вся жизнь — одна лишь печальная история несчастий, в которой невозможно выжить, по самым разным причинам. Хочется кричать, рвать на себе одежду, вырывать себе глаза, валяться в пыли, слепым и безумным. Решение расстаться с ней, с жизнью, принесло ему покой. Несказанный покой и легкость. Такое решение становится крепче, когда принимаешь его не один. Какое удовлетворение! Наполнить стакан капля за каплей, медленно и осторожно, не давая пролиться, до краев! Посмотреть поверх него. И все. Прошло.

Я не понимаю, что он имеет в виду. Он говорит о смерти, думаю я.

И все же он здесь, — говорю я тихо. — Да, — говорит Клейст, — но он рассуждал о жизни. Это значит не более чем то, что переполненная бочка все же остается тем, чем она является. Бочкой. Когда она переполняется, тебя, частичку, пристроившуюся на сухом месте, смывает прочь, и ты скитаешься, пока не найдешь другой сосуд. И так далее. По сути мы все прочно сидим в огромном колодце. Тошно.

Мы молчим.

А что случилось с Генриеттой? — спрашиваю я.

Клевая тетка, — говорит Клейст. — Жалкая жизнь, дурацкий брак, болезнь, и такая огромная любовь к жизни, что выбора никакого и не было. Так мы оказались там.

А каково это — совершить такое? — спрашиваю я, не задумываясь о том, уместен ли вопрос.

Я действительно хочу сейчас это знать. Насколько это легко, насколько тяжело. Клейст говорит: то так, то эдак. Мечешься туда-сюда. То хочешь жить, то умереть. И именно тогда, когда уже все решено, приходит какой-то идиот и задает дурацкий вопрос: «Ах, и вы здесь? Тоже решили выбраться за город?» И становится невозможно что-то предпринять. После долгого прощания, после тишины и покоя и почти полной готовности к наивысшему вдруг приходит случайно такой вот знакомый, косо поглядывает — и весь покой насмарку. Теперь пустить себе пулю в голову значило бы втянуть в это бедного парня. В конце концов, он бы еще подумал, что это был акт отчаяния, потому что их застукали. И ему со-

вершенно не хотелось, чтобы последними его словами в обществе был разговор о погоде и красотах местности в окрестностях Котбуса.

Тогда они поехали назад в город, Генриетта к своему мужу, чиновнику Фогелю, а он, с уже почти проломанным черепом, в свою дешевую гостиницу. Все, кончено.

— Я бы хотела, чтоб так все и было.

— Это лишь один из вариантов. Не думаю же я, что была одна-единственная возможность?

— Что?

— Однажды мы остались жить дальше. Однажды мы застрелились. Однажды мы выстрелили друг в друга, однажды я застрелил ее, а потом себя. Однажды она застрелила меня, а потом себя, однажды пришел ее муж, и тогда я застрелил его, а он меня, а ее — нет. Или он меня, и больше никто никого...

Однажды он погиб на войне, с честью, однажды — на дуэли с Гёте. Жаль, что он не может вспомнить, застрелил ли он однажды этого свинью Раумера. Плевать. Однажды он умер в 1809 году в монастыре под Прагой от лихорадки, однажды погиб в битве за Ваграм, однажды умер совершенно глупо в местечке под названием Бутцбах, только потому что какой-то орущий осел напугал его лошадей и повозка перевернулась...

— Но что все-таки *на самом деле* случилось *здесь* 200 лет назад?

— Понятия не имею. Об этом тебе лучше спросить у своего профессора или у господина Эйзенштейна.

— Эйштейна!

У меня закружилась голова. Столько мы еще не говорили на протяжении всех этих недель. И тут он мне вешает лапшу на уши по поводу параллельных миров. Умер значит умер! Принимаются решения. Потом о них сожалеют. Пробиваются в жизни дальше. А не прожитое, не рожденное... Оно же не прожито. Не рождено. Возможно ли, что где-то в другом мире я — мать? Стало ли в этом другом мире на одного человека больше? Или это уравнивается тем, что в другом месте еще один человек выпрыгнул из окна? Или застрелился. Что на одного человека стало меньше.

Клейст снова смотрит из окна, теперь мы уже проезжаем Бельвию. Когда двери закрываются, Клейст снова начинает говорить, не отрывая взгляда от окна и находящегося за ним перрона. На этот раз он явно очень долго размышлял.

В целом все это — неожиданный постскрипtum.

Словно остался на второй год, — теперь он смеется.

У него странный смех. Он даже выводит бомжа из состояния апатии, и тот пытается всучить нам газету «Мотц», заговаривает с нами, заводит свою историю о тяжелой жизни и о том, как мило было бы, если бы кто-нибудь из нас... — и тут становится не до смеха! Спасибо и прекрасного дня.

Клейст здесь, в этом мире. Он оказывает влияние не только на мою жизнь, но и на речь бомжа, торгующего газетой.

Возможно он уже столько раз сводил счеты с жизнью в параллельных мирах, что в другом должен нагнать все упущенное время жизни? Нет, нет. Идиотская мысль.

А однажды, — говорит Клейст, — он застрелил Генриетту, и после этого у него не возникло ни малейшего желания покончить и со своей жизнью. Это было странно. С хлопаньем крыльев взлетела стая птиц, Генриетта лежала как сломанная кукла, а его позвал обратно в жизнь такой взрыв адреналина, что стало невозможным положить конец этому нежданному жизненному импульсу. Не из трусости, нет, но — он краснеет и запинается, подыскивает слова, — потому что это было слишком ново.

Что? Что было ново?

Все!

Он ушел прочь. В душевном спокойствии, с отсутствием мыслей, медленно, не торопясь. Сначала отправился в Потсдам, где случайно встретил знакомого одного из своих друзей, Дальмана, чудесного человека, и тот как раз должен был передать ему от Дальмана привет и письмо.

— Надо же, и такое может случиться!

— Да. Один из тех миров, в которых случай был к нему благосклонен. Потом он отправился в Копенгаген, а после в Киль к Дальману, тот как раз получил отличное место и мог бы подыскать похожее и для него.

— Без документов? Под чужим именем?

Клейст перебивает меня. Раньше это было проще, чем теперь.

Что это значит (хочу ли я это знать)?

Клейст сворачивает сигарету и бормочет что-то неразборчиво себе под нос. Он впивается глазами в бумагу, словно хочет что-то сказать кривой и тонкой сигарете. То, что он говорит, до меня не доносится, а пропадает в глубине самокрутки. Его язык лижет кромку бумаги. Что он там шепчет сам себе?

Что?

Я могу выбрать себе один из множества финалов. Здесь состоялось трагическое двойное самоубийство, пусть будет так.

В другом мире он смылся.

Он делает многозначительную паузу, прежде чем отреагировать на мое: «И куда?»

— Во Францию. Странное дело.

Он делает первую затяжку. О том, что здесь нельзя курить, он, вероятно, не знает.

Для некоторых людей его поступок оказался весьма кстати. (Клейст напускает на себя безумно важный вид тайного агента!) Для мира он

умер. И расшатанная Пруссия, для него она тоже могла катиться ко всем чертям. Но в это должен был верить кто-то другой. Это он понял лишь позже. Французский агент с прусской идентичностью, или наоборот. По воле случая похожий на него... —

Я не понимаю ни слова!

— Ты застрелил ее, а самого себя — нет, и случайно мимо проходил агент французской тайной полиции с кем-то, кто был похож на тебя и от кого они хотели избавиться?

Если кто-то хочет назвать это случаем, говорит Клейст, — пожалуйста. Ему кажется, что все давно висит на тонких нитях, и если будет угодно случаю, одна из таких нитей порвется, возможно, потому, что как раз на нее села муха, или потому, что прокричал осел.

— То есть все как-то связано друг с другом? Есть некий смысл и план в этом лабиринте нитей, полном дамочловых мечей, но рассмотреть их нет никакой надежды?

— Да, примерно так. Но иногда их все-таки можно разглядеть. Случайно, — он улыбается.

Я пытаюсь вспомнить, как там звучит эта теория хаоса. У всего есть структура, все повторяется и напоминает само себя, но ничего нельзя познать, разве что глядишь на все с большой высоты.

Это могло бы ему понравиться. Но я не хочу, чтобы у него появилась еще одна навязчивая идея. Хватит того, что он все время занят теорией относительности. Кроме того, я не хочу еще больше отклоняться от темы. Особенно сейчас, когда он наконец-то говорит о чем-то конкретном.

И чего хочет от тебя французская секретная служба? — спрашиваю я его. Теперь уже ничего, — говорит Клейст.

Вопрос крутится у меня на языке. А ты не был в плену? Где-то под Марном?

Клейст кивает.

И еще однажды у Асперна, там австрийцы почти готовы были его линчевать, за шпионаж *в пользу* французов.

Тогда ему лучше было для начала залечь на дно.

Он снова смотрит в окно. Не знаю, почему-то я не верю ни одному его слову. И еще мне кажется, что Клейст из тех, кто одержим теорией заговора.

Он шпионил в пользу Франции?

— Этого я не говорил!

— Так что же?

Сложно провести здесь границу. Тем более что он родом из того времени, когда границы все время менялись. Он пересекал их, наверное, раз сто — в любом смысле. Рейнский союз, ненавистный тиран-император, то есть Наполеон, прусское государство, которое когда-то было сильным, а

потом оказалось вынуждено пойти на соглашение с французами. И никогда воистину не пробуждало патриотического духа в своих подданных! Лучше лавировать туда-сюда, признавать то один цвет, то другой, поставить на карту союзников честь и достоинство, чем отважиться на освободительную войну! Печально! Жалкое зрелище!

— Ага.

И вот еще:

Он стал городским писцом в небольшом местечке на Луаре, женился на дочке бургомистра, которая родила ему, чередуя девочек и мальчиков, трех сыновей и трех дочерей. И никогда больше у него не возникало мысли о смерти. О родине — да, пожалуй: то, что находится вдали и недоступно, становится, конечно, светлым образом. Такой она и сохранилась у него в памяти. А Франция... — ну да, раньше он больше всего ненавидел франкское отродье, но когда посмотрел на них с другой стороны, из окна своего скромного, но просторного дома с садом и грушевым деревом, скользя взором по кустам золотарника и аконита, изгородям из жимолости вдаль, то все предстало в ином свете.

Дом, жена, свобода.

Жизнь развила что-то вроде ее собственной необходимости... — против этого он ничего не мог поделать. И не хотел.

Я размышляю о том, что он сказал. В этом не было ничего, что я могла бы изложить на семинаре. Меня бы высмеяли, если бы я пришла с гипотезой о том, что Клейст вовсе не покончил жизнь самоубийством, а завел семью во Франции.

Это могло бы быть настоящим финалом, последним уровнем в игре, в которой приходится 1000 раз умереть, прежде чем достигнешь цели.

Я говорю, что понимаю это. Каждому нужно место, где он мог бы остаться.

Берлин, говорит он, как раз не был таким местом для него. И уж этому-то я должна поверить: все, действительно все сделал он для того, чтобы это место здесь (он снова смотрит в окно, район Хакеше Маркт проносится мимо нас) стало таковым.

Что например?

Когда думаешь, что наконец нашел то, чем мог бы заниматься: писать, и таким образом, который, вообще-то, должен был соединить его с миром, когда отдаешь последнюю рубашку для того, чтобы издать газету, все оставляют тебя на произвол судьбы, а власти запрещают говорить то, что ты должен сказать... Когда лижешь зад высокопоставленным особам ради своего дела, когда тебе обещают золотые горы: все образуется, мы об этом позаботимся, а в конце концов они не могут вспомнить об этом именно тогда, когда нужны деньги, когда тебя внезапно лишают стипендии, которой якобы никогда и не было, и все авторы внезапно

разбегаются... И когда у тебя есть так много что сказать и сделать, и когда ты как раз нашел подход к народу, а вместо этого должен бороться с министрами. Гарденберг, всегда такой вежливый и угодливо-доброжелательный: Да, мы понимаем Вас, Клейст, постарайтесь быть сдержаннее, и мы посмотрим, что мы сможем для Вас сделать. *Должна же быть возможность* что-то сделать. Ну конечно же. Еще чашечку чая? Еще печенье?

И вот ты снова сидишь, снова ешь печенье, и никто вроде ничего и не говорил. Никакой поддержки, никаких денег, никакого лобби. Зачем надо было критиковать Национальный театр, разве так делают? Мы же говорили Вам, будьте сдержаннее, Клейст.

Потом ему вообще не было дозволено писать про театр. Как будто мало было того, что не было театра, *для* которого стоило бы писать, какая ирония заключалась в том, что ему запретили писать и *об этом*. О битве за славу на сцене Ифланда, когда душа выражает себя через локти².

Ладно, наплевать и на это. Газета прекратила существование уже через полгода, кто-то помог ей погибнуть, и... и... и в конце ничего! Вот дерьмо! В конце он умолял о том, чтоб ему позволили уж хоть кофе варить при каком-нибудь правительственном листке, только бы получить хоть какую-то должность. При этом ему хотелось кричать. У него раскалывался череп. Этот позор, и эта нищета, и эта тяжесть в голове. Даже к королю он обращался с нижайшей просьбой снова стать солдатом. Воевать *против* французов. Ведь все чувствовали: сейчас или никогда! Стереть во прах врагов всех Бранденбурга!³

Ничего. Никакой войны. Никакой свободы. Никакого предназначения для того, кто все бы сделал на бумаге, а если бумага перестанет иметь ценность, то на поле брани...

Старая женщина сверлит Клейста взглядом. Ему не следует здесь курить, говорит она. Клейст встает и кланяется. Сигарету он выбрасывает в окно. Он бормочет что-то вроде «извините» и снова садится. Он успел сделать всего одну затяжку. Пока он говорил, пепел падал на пол.

— Может быть, ты слишком поспешил? (Клейст потерял нить разговора, а я — нет.) Или ты слишком рано сдался, думаю я, но не говорю этого. Разве он не говорил совсем недавно, что газета выходила год с небольшим? Не важно.

— Может быть, — он делает выдох. Бросает на меня короткий взгляд, потом снова отводит его. — Ну вот, теперь я увидел свою могилу. Прекрасно. Как-то успокаивает.

Мы уже подъезжаем к Яновицбрюке.

² «Mit der Seele im Ellenbogen» — цитата из статьи Клейста «О театре марионеток.

³ «In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!» — финальная реплика из драмы Клейста «Принц Фридрих Гомбургский».

Здесь он как-то с тяжелой головой — «Вечерние листки» тогда уже перестали выходить — плыл на лодке от Обербаума к Унтербауму. Как было хорошо тогда забыть город и обрести покой!

Обербаум я, конечно, знаю, мост у Варшавской улицы, которая так или иначе возникает в каждом берлинском сериале.

— В центре?

— Да, где-то здесь.

— С ума сойти.

А где тогда, скажите пожалуйста, Унтербаум?

Может быть там, где живу я, там, где нужно почти что прыгать через стелы, по направлению к Стралау. Там у меня, — говорю я, — можно отлично кататься на лодке. Можно взять напрокат каноэ и грести к бухте или просто плыть по течению. Я начинаю скучать по лету. А еще можно кататься на коньках, возможно уже скоро. Жизнь действительно может быть прекрасна. Хоть природа уже не так хороша, как в его времена, и в городе редко бывает тихо, даже на воде, но иногда все же... да. Жизнь прекрасна. Клейст все еще смотрит в окно, думает о Генриетте. Это видно, потому что он рисует на запотевшем окне вычурным шрифтом букву «Г».

— Здесь твою подругу обвиняют из-за того, что она умерла вместе с тобой. Часть ученых придерживаются мнения, что один ты не покончил бы жизнь самоубийством и что, если бы она отказалась, ты был бы сохранен для мира и написал бы еще немало пьес.

Клейст кивает. Ну, может быть, кто знает... Хотя — то, что он устроил там, во Франции — не так уж все это и замечательно.

По дороге домой мы проходим мимо овощного ларька, открытого допоздна, и просим записать нам на счет. Пиво и чипсы. У меня возникла потребность уютно провести вечер. Я хочу испытать чувство нормальности и обыденности, и я хочу, чтобы Клейст порадовался жизни. Чтобы ему не захотелось сбежать. Потому что страдают всегда другие. А сам он, глядишь, уже выкрутился, смылся...

Твоя сестра, наверное, много плакала, — сказала я. Это его задевает. А я ведь хотела только сказать то, что до этого подумала: *Жизнь прекрасна*. И чтобы доказать это, мне не приходит в голову ничего лучшего, чем пиво и чипсы, и эти кислые жевательные конфетки, просмотр сериала про врачей, осенние листья, ярмарочная площадь, карусели, секс — ну, для начала первые три вещи. Это не много, но я почти счастлива. Я блаженно дремлю на плече Клейста и просыпаюсь только когда фильм заканчивается, Клейст встает и сообщает мне, что хочет пойти прогуляться. В Бергхайн!

Поскольку я в недоумении смотрю на него, он говорит: «Это такой клуб!»

Пер. с нем. А. Васкиневич

IV

*АВТОР И ЖАНР:
КЛАСИКА
НЕЗАБЕРШЕНОТО
ДУАЛОГА*



